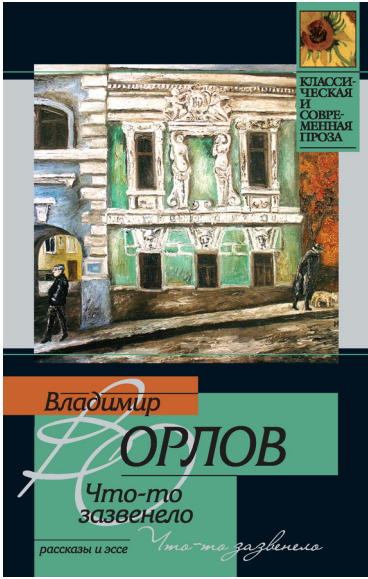




Владимир Викторович Орлов
Что-то зазвенело (сборник)

*Текст предоставлен издательством «АСТ»
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=181204
Что-то зазвенело: АСТ, Астрель; Москва; 2004
ISBN 5-17-027007-0, 5-271-10358-7*

Аннотация

В сборник вошли известные рассказы «Что-то зазвенело», «Трусаки» и «Субботники», а также эссе разных лет.

Содержание

Рассказы	4
Что-то зазвенело	4
Трусаки	18
Конец ознакомительного фрагмента.	24

Владимир Викторович Орлов

Что-то зазвенело (Сборник)

Рассказы

Что-то зазвенело

1

Домовой Иван Афанасьевич ждал субботы. Он знал, что в субботу вечером, в семь часов, Екатерина Ивановна пойдет в кинотеатр «Космос» на французский фильм «Замороженный». Он знал, что билет ей выпадет на шестнадцатое место в четырнадцатом ряду. У Ивана Афанасьевича и у самого в субботу был выходной. Муж Екатерины Ивановны находился теперь в отъезде. Впрочем, муж тут не имел никакого значения.

2

Прежде, до переезда, Иван Афанасьевич был в ответе за двухэтажный деревянный дом в переулке возле Трифоновской улицы. Но тот дом снесли. Дернул бульдозер трос, порушил столбы и перекрытия. Поднялась труха и опала. Предприимчивые люди уволокли доски покрепче для устройства дач. А Иван Афанасьевич пешком с остановкой в пивном шестиграннике у Крестовского моста отправился в Останкино на новое место своего существования.

Место это было желто-розовое, в девять этажей, с четырьмя подъездами. Будто бы Иван Афанасьевич получил повышение. А ведь не просил ни о чем. Может, очередь его подошла. А может, случилась путаница. Не те цифры где-нибудь зачеркнули. Ну и не его это было дело. Иван Афанасьевич не любил суеты, не понимал стремлений приятелей пробиться в здания посolidней. Чуть ли не в самую Останкинскую башню. Он и дровяной сарай согласился бы принять, лишь бы в нем не водились крысы. Шуршание этих мерзких животных, ненасытная толкотня их, движения в пазах гнилого дерева раздражали его мечтательную натуру. Пусть хоть и девять этажей, но без крыс. Так он себя и успокоил.

В старом доме он отдыхал на чердаке, где днем сушилось белье и дети возле печных труб играли в прятки. В душные августовские ночи он спускался в подвал сапожника Михайлова и спал там в кадках из-под квашеной капусты. А когда в дом провели водяное отопление, он освоил дымоходы и пустые печи. Славно там было! Новое место поначалу Ивана Афанасьевича печалило и оглушало. Ни чердаков тут не полагалось, ни подполов, ни печей. Первые дни Иван Афанасьевич спал на плоской, как футбольное поле, крыше, однако промок, стал кашлять, чихать, а ближняя аптека у ресторана «Звездный» прочно держалась на учете.

Тогда Иван Афанасьевич перебрался в мусоропровод третьего подъезда. Но и тут ждали его неприятности. Жильцы поселились в доме молодые, энергичные, они и ночью и даже в покойные предрассветные часы пускали вниз по трубе мешавшие им предметы. В особенности бутылки, не соответствующие стандартам пунктов приема посуды. Четыре таких бутылки из-под светлого румынского пива «Букурешти», брошенные ловкой рукой,

однажды протащили бедного Ивана Афанасьевича по трубе с седьмого этажа до третьего. При этом бутылки подпрыгивали и обидно били по спине. Спросонья Иван Афанасьевич не понял, чья это была ловкая рука, а то пришлось бы в квартире той руки проводить срочный ремонт.

«Ну да бог с ней!» – вздохнул Иван Афанасьевич и съехал из мусоропровода. Теперь уже под лифт. Там была такая крепкая пружина из толстых стальных колец. Он себе эту пружину и приглядел. Залезет в нее и спит. Поначалу удары лифта по пружине его раздражали, и нет-нет, а лифт Иван Афанасьевич ломал. Потом привык он и к ударам. И они ему стали милы. И уже не только не мешали ему спать, но и мечтать не мешали.

А в мечтаниях его непременно возникал легкий и непорочный образ Екатерины Ивановны. Иван Афанасьевич умилялся, шептал: «Катенька...» – и вздыхал, отчего пустой лифт тут же трогался с места.

3

Как это угораздило влюбиться его? Ведь он уже любил всерьез семь раз и знал, к чему это приводит. Да и не мог он ее любить вовсе. Однако увидел Екатерину Ивановну в магазине на Аргуновской в очереди за рыбой сквамой, так все в нем и оборвалось. Он уже и нашатырь пил, и тер виски голубиным пометом, и в общественную работу втягивался, и в «Спортлото» играл – ничто не помогало. Может, нашатырь пошел не тот, искусственный, может, голуби обленились, а только не выходила Екатерина Ивановна из его сердца. Как все было глупо и как все было сладко! Иван Афанасьевич, сидя в своих кольцах, даже стихи стал сочинять. А по утрам, когда Екатерина Ивановна спешила на Язуз, в свой НИИ, где она, бедняжка, целый день из одной колбочки в другую переливала жидкости, Иван Афанасьевич издали восторженным старшеклассником любовался ею. Иногда Екатерина Ивановна оборачивалась, но разве могла она среди прочих торопливых существ заметить его, Ивана Афанасьевича!

Все в ней нравилось ему. И волосы после парикмахерской, и дорогие французские духи, и следы собачьих зубов на белой ноге, и то, как мило она говорила собеседникам: «Нет, правда? Ты меня разыгрываешь...», и то, как она усердно носила домой издалека тома трех серий «Библиотеки всемирной литературы», заготавливая книги впрок для малого сына и будущих внуков. И Катенькин муж Ивану Афанасьевичу, конечно, нравился – Михаил Анатольевич человек очень обаятельный, несмотря на отпущенную недавно рыжеватую, всю из мелких клочьев бороду. Не было у Ивана Афанасьевича фотографии Екатерины Ивановны, однако польская певица Иоланта Борусевич показалась отчасти на нее похожей. В ларьке «Союзпечати» Иван Афанасьевич позаимствовал гибкую пластинку Иоланты Борусевич. Конверт с портретом он хранил под лифтом, а пластинку иногда проигрывал на радиоле в опечатанной квартире Сушковых, уехавших на три года в Кувейт добывать машину.

Иван Афанасьевич слушал, бывало, Иоланту, закрывал глаза и думал о своей прелестнице.

Чего бы он для нее только не сделал! Уж точно, никогда бы не пришлось в квартире Екатерины Ивановны устраивать ремонтов. Ни одна бы моль здесь не летала, ни один бы поганый клоп по стенам не бродил, ни одна бы букашка блинную муку не портила. Тут бы и паркет был целехонек и ровен, и мышь бы без дела не скреблась, и не рвались бы обои, и трещины на потолке замазывались бы сами собой. Иван Афанасьевич мог бы тайно стирать и гладить хозяйке и мужу, до того крепким было его чувство. Протянула бы Екатерина Ивановна руку к нечистому платью, а оно – на тебе! – будто бы только что из прачечной и с гладильной доски. Иван Афанасьевич и лампочкам не давал бы перегорать. Да что там лампочки! В этой святой квартире и водопроводчик был бы тихим и робким, и четыре рубля не к нему бы ушли, а остались бы для Михаила Анатольевича.

Многое умел Иван Афанасьевич. Многому был обучен. Да что толку! Только и оставалось Ивану Афанасьевичу руки протягивать в сторону судьбы и говорить мысленно в ту же сторону: «Ох, судьба, куда же ты смотришь!»

Иван Афанасьевич служил в двадцать первом доме. Екатерине же Ивановне дали ордер в дом номер двадцать пять.

А домового в двадцать пятом доме исполнял Георгий Николаевич.

Двадцать пятый был дом как дом. Башня в двенадцать этажей. Но Георгий Николаевич считал, что его обошли, и несколько завидовал Ивану Афанасьевичу. Двадцать первый был домом первой категории, а двадцать пятый – второй.

– Эва, смотрите, – говорил Георгий Николаевич, – двери-то у вас какие, под дуб, и ручки блестят, и подоконники широкие... А у меня что?.. Так... Тьфу...

Мелочи всегда трогали Георгия Николаевича. Иван Афанасьевич это знал. Познакомились они в Крымскую войну, в восемьсот пятьдесят четвертом году. Тогда их деревянные дома стояли стена к стене на нечетной стороне Третьей Мещанской, за церковью Филиппа Митрополита. Георгий Николаевич отличался в ту пору легкомысленностью и в доме, где служил Иван Афанасьевич, воровал пареную репу. Иван Афанасьевич поймал его однажды, Георгий Николаевич плакал, по молодости лет и незнанию лешачьих законов он думал, что за кражу его развеют по ветру. Однако Иван Афанасьевич дальнейшего хода делу не дал, а пожурив разбойника крапивой, отпустил его. Репу, конечно, отобрал. Потом их дома сгорели и пути разошлись. Узнавали они друг о друге случаем. И вот опять стали соседями.

Иван Афанасьевич полагал, что отношения у них с Георгием Николаевичем все же неплохие. И он уже давно хотел просить Георгия Николаевича окружить по своей линии Екатерину Ивановну теплом и вниманием. Что ему стоит! И он бы соседу отплатил добром. Да все робел и откладывал разговор.

Наконец пришел вечером в собрание сослуживцев и сказал себе твердо: «Сегодня поговорю непременно». Не мог больше терпеть. А собирались домовые при ЖЭКе. Куда им было еще податься?

4

ЖЭК занимал второй этаж дома дачного вида, да еще с башенкой, на Аргуновской. Вела туда очень крутая и высокая лестница, и только здоровый, спокойный и непьяный человек мог попасть в ЖЭК на работу и на прием. Домовых, понятно, лестница не пугала. Под ЖЭКом, на первом этаже, была почта, и одинокий телеграфный аппарат стучал там всю ночь, нисколько не мешая Ивану Афанасьевичу и его приятелям.

Старожилы говорили ему, что поначалу они собирались в большой комнате приемной, но уж больно долго в ней засиживались общественники. Ждешь, ждешь, бывало, пока они уйдут, и зевать начнешь. Перебрались потом в залу главного инженера. Но там отчего-то пахло кислым и шла плохая карта. Перешли в бухгалтерию, здесь и осели.

Не то чтобы очень весело было в их собрании, но и не скучно. Кто пел, кто играл в бридж, кто в шашки, кто в домино, кто распечатывал кроссворд, кто вышивал бисером, кто гадал, признает ли Мальта правительство Бахрейна или нет. Откуда-то возникали бутылки, и образовывался то ли бар, то ли буфет. Иногда вдруг такая стихия захватывала компанию, что все становились прямо как маленькие дети! Плясали, шумели, лампочки выкручивали в коридоре, на руках с рюмкой во рту спускались по лестнице, попрыгунчика Леонида Борисовича связывали тесемками от папок и сургучом приклеивали к потолку.

А иногда, напротив, все сидели серьезные, умные и вслух страдали за жильцов. Оглядываясь по сторонам, ругали техников-смотрителей и слесарей. И тут же начинали обдумывать: что бы такое предпринять, от чего бы ЖЭК стал лучше. Иван Афанасьевич при

этом мечтал про себя: «Эх, как бы моим жильцам да что-нибудь эдакое... И Екатерине Ивановне...» Но что он мог сделать? Самое большое – забраться сейчас в кабинет начальника конторы и в папке его переложить жалобы своих жильцов на первое место под самую обложку... Но ведь и другие домовые не дураки, и они тут же жалобы своих перетянули бы вперед.

А публика собиралась интересная. Самые разные домовые. Правда, мелкие чином, как и Иван Афанасьевич, но почти все с историями. Только несколько шалопаев из блочных домов историй не имели, отличались номерами домов, в которых и завелись, шей они не мыли, орали иностранные слова и в собрании хамили старшим, будто в подворотне. А в общем, и они были милые ребята. Отчеств им пока не полагалось, обходились прозвищами, а то и просто номерами домов.

«Хорошие ребята, – думал, глядя на них, Иван Афанасьевич. – Жизнь по-новому переделают... Вот только трудно им будет. Ни об чем понятия у них нет...»

Все прочие завсегдатаи имели имена-отчества, и, как правило, имена эти совпадали с именами хозяев первых домов, куда знакомцы Ивана Афанасьевича попали кто триста, а кто сто лет назад. Только Артем Лукич, изменив взгляды, принял имя председателя жилтоварищества. Он и усы от него носил.

Очень забавлял Ивана Афанасьевича домовый Велизарий Аркадьевич. Он долгие годы жил в особняке стиля «модерн» и весь был изогнутый и воздушный. Часто Велизарий Аркадьевич как бы никого не видел и читал вслух Бальмонта. Иногда он поднимался над столом бухгалтера, с неким воем обхватывал руками голову, потом опускал ладони на плечи и говорил, что голова и плечи у него целиком из высокой духовности. «А как же шея?» – спрашивал один из шалопаев. Тут Велизарий Аркадьевич обижался, уходил в угол, замыкался в себе, и Иван Афанасьевич шел утешать его.

Из стариков Ивану Афанасьевичу нравился Федот Сергеевич. Вечно он был печален, но справедлив. Века три подряд он жил в каменных палатах дьяка Суroveгина. Палаты снесли по злой небрежности районного архитектора, о чем была статья в газете. И теперь Федот Сергеевич чуть ли не каждый день ходил в дом к тому архитектору, бил посуду из комиссионных сервизов и выливал на ватманскую бумагу тушь из пузырьков. Однажды в особой печали Федот Сергеевич целый пузырек опрокинул на лысину спящего архитектора. А тому предстояло идти на важный прием. Иван Афанасьевич как узнал об этом, подошел к Федоту Сергеевичу и пожал ему руку.

Старше Федота Сергеевича в компании был один Василий Михайлович. Круглый, как баташевский самовар, багровый, он перекатывался обычно по комнате, булькал и гоготал. Но уж больно он был нахрапист и хвастлив. В особенности когда в собрании по какому-либо поводу возникал президиум и Василий Михайлович норовил сесть справа от председателя. «Да я!.. Да мы! – кричал он тогда. – Да меня сам Савва Морозов катал в автомобиле, когда ему не спалось... Да что Савва! Меня ребенком Иван Васильевич Грозный держал на коленях...» «Ну ладно Савва Морозов, бог с ним, – думал Иван Афанасьевич. – Но Ивану-то Грозному какая была корысть держать это чучело на коленях?» Однако ничего не говорил.

Но вот уж кто мог шуметь громче всех, кто мог всех перекричать и урезонить, так это Артем Лукич. Геройского вида был Артем Лукич. Он считал, что он в компании самый сознательный и заслуженный, а потому у него больше всех прав. И все так считали. В двадцать восьмом году он перебрался из купеческих хором в Дом нового быта с кухней-коммуной и с тех пор много узнал в политическом смысле. На руке у него была наколка: «Рабочее жилтоварищество – наша крепость». Приятели, ходившие с ним в баню, рассказывали, что у него и по телу идут мысли из устава жилтоварищества, а на левом плече наколот портрет самого председателя с усами и трубкой.

Словом, милейшие собирались личности в доме на Аргуновской. Все были местные, останкинские, из ближних строений. Один Константин Игнатьевич приезжал с Таганки на трех трамваях. Кто он, зачем он, что ему здесь надо, отчего он тратится на трамваи, никто не знал. Спросить же его было бы дурно. Да и к чему? Раз приезжает, стало быть, надо. Тем более что клубного правила он не нарушал. А правило было строгое: больше, чем двадцать один домовый, в компании быть не должно. Как только двадцать первый приходил – двери запирались. А Константин Игнатьевич аккуратно являлся девятым. И никому не мешал. Сидел себе тихо, один, курил «Мальборо», улыбался и играл сам с собой в коробок. И на вид он был простой, свойский. Никаких печатей на лице не имел.

5

Вот в это собрание Иван Афанасьевич и пришел восьмого августа в самом отважном состоянии духа. Первым делом он отыскал соседа Георгия Николаевича и подсел к нему. Для верности предприятия он все же выставил Георгию Николаевичу бутылку шотландского виски венгерского розлива. Когда оба стали теплы и с умилением принялись вспоминать о юношеских забавах на Третьей Мещанской, Иван Афанасьевич решил, что пора. Он прямо тут и хотел говорить. Однако почему-то оглянулся на Константина Игнатьевича с Таганки и на всякий случай позвал Георгия Николаевича в коридор.

– Жора! Куда же вы?! – обеспокоился блочный шалопай, известный как «номер сорок третий».

Георгий Николаевич поглядел на него, икнул и забрал с собой бутылку виски. В коридоре они с Иваном Афанасьевичем остановились возле тяжелого табурета, крашенного в казенный цвет. Георгий Николаевич хлебнул виски из горла и опустил бутылку на табурет. Как на пьедестал. Ах, Иван Афанасьевич, и зачем, зачем вы только встали возле этого табурета!

– Ну что? – спросил Георгий Николаевич.

– Видите ли, Георгий Николаевич, дело у меня к вам чрезвычайно деликатного свойства... И вы уж будьте добры, надо мной не смейтесь...

– Прожгли, что ли, все? В займы, что ли, будете просить?

– Почти что займы... То есть нет, но я хотел бы быть у вас в долгу... Дело, видите ли, касается женщины...

– Ба-ба-ба! – вытаращил глаза Георгий Николаевич, он даже отодвинулся от Ивана Афанасьевича и смотрел теперь на него как на домового больного и опасного и для него, Георгия Николаевича, совершенно чужого. – Рисковый вы, однако, рискованный... Нам ведь их нельзя... Вы что – забыли лешачий закон?..

– Неужели вы никогда не любили? – взволнованно спросил Иван Афанасьевич.

– Отчего же? Любил. И теперь, в некотором роде... Птицу любил. У купца Тихонова в огороде. Долго любил. Птицу павлин. Вот с такими перьями. Бывало, голову повернет – а у меня цыпки по коже. А уж когда сварили ее, плакал... Теперь скульптуру люблю.

– Какую, простите, скульптуру? – удивился Иван Афанасьевич.

– Гипсовую. Раньше мрамором увлекался, а теперь гипсом. Мраморные – они высокомерные и не для всех. Оттого и носы у них бьют. Сам я одной, знаете... А гипсовые и материалом проще и доступнее, – тут Георгий Николаевич отчего-то засмутился, голову наклонил и, может, не хотел слово выпустить, да не удержался: – Я ведь все время к одной хожу... Знаете, в Останкинском парке возле водяной карусели моя симпатия и стоит. Женского полу. С лещом под мышкой и вот тут. Я ее Гретой зову...

Он замолчал, был размягчен, видно, желал тут же к Грете и пойти.

– Отчего же вы думаете, – спросил Иван Афанасьевич, – что живые – они хуже гипсовых?

– А оттого, – возмущенно заявил Георгий Николаевич, – а оттого, что не гипсовые!

Ивану Афанасьевичу бы понять, что Георгий Николаевич может сейчас обидеться все-ррез, а он и сам, на свою беду, разгорячился. Сказал:

– Нет, вы не правы, Георгий Николаевич!

– Ну конечно, куда нам! Это вы всегда тонкостью славились. Только не думаю, что моя Грета хуже вашей... этой... живой... Да ведь нам и нельзя их любить по закону!.. Вы что, ошалели?..

Тут сразу же возле табурета возникла тишина. И надолго. Потом Георгий Николаевич отлил себе в глотку виски и спросил:

– Ну а я тут при чем?

– Она из вашего дома, Георгий Николаевич...

– Из моего? – поперхнулся Георгий Николаевич. – Да в моем доме одни криворылые и придурковатые! Это в вашем доме кое-кто есть, у вас там и двери под дуб, и ручки металлические, а у меня все дрянь... Кто же это?

Не хотел уже, ох как не хотел Иван Афанасьевич открывать имя своей прелестницы, этой ли грубой скотине слышать милое ее имя, но что ему оставалось делать?

– Екатерина Ивановна, – сказал он воздушно.

– Ковалевская? С пятого этажа! Из тридцать восьмой квартиры? – загоготал Георгий Николаевич. – Катька! Так ведь она мужа бьет!

– То есть как? – опешил Иван Афанасьевич.

– А так... Вы-то небось думаете, что она нимфа, а она мужа бьет... Как он только с Калядиным выпьет, так она его и бьет. Чем ни попадя!

– Ну и что? – надменно спросил Иван Афанасьевич.

– А то... А то, что моей Грете ваша Катька и в качестве леща в подмышку не годится! Вот что!

– Я прошу вас взять свои слова обратно, – глухо сказал Иван Афанасьевич.

– И не подумая.

– Ну тогда я скажу, что ваша Грета наверняка создание какого-нибудь бездарного халтурщика и место ей на помойке.

– Еще одно такое слово, и в квартире вашей так называемой Екатерины Ивановны я все заражу паршой. Мой дом? Мой! Серебряные ложки станут у нее пропадать! И постельное белье тоже!

– Вы меня знаете, я безрассудный, – тихо сказал Иван Афанасьевич, – я ведь возьму у водопроводчика разводной ключ и всю вашу Грету по частям сброшу в пруд.

Каким уж невоспитанным считался Георгий Николаевич, а тут сразу взял себя в руки. Обнял Ивана Афанасьевича за плечи и сказал:

– Да что это мы с вами из пустяков бой затеяли!..

– Для меня это не пустяки... Однако и я не собирался вас обижать... Ведь я даже хотел снять металлические ручки с моих дверей и обменять на ваши пластмассовые... Раз они вам так нравятся... Если бы пошли мне навстречу...

– Да пожалуйста! Только ведь я... – и тут Георгий Николаевич снова захохотал.

Он долго хохотал, слезы с глаз смахивал, наконец успокоился.

– Да ведь я почему смеюсь, – сказал Георгий Николаевич, – потому что мне вас жалко. Вы что, ослепли?

– Я вас прошу, Георгий Николаевич...

– Она ведь и за квартиру не платит вовремя... Она ведь и над соседом-пенсионером танцует после одиннадцати в тяжелых туфлях, когда гости...

– Замолчите, Георгий Николаевич, или я...

– Да это что! У нее, у Катеньки вашей, – не мог уже остановиться Георгий Николаевич, но перешел почему-то на шепот, и от шепота этого все зашипело в коридоре, – у нее зуба нет. Ей-богу. Коренного, четвертого сверху, с правой стороны.

От кощунства этого, от этого неприличия все задрожало в Иване Афанасьевиче, и, как был он рыцарь, так и схватил тяжелый табурет, не расплескав виски, и прибил Георгия Николаевича к полу. Сбежались домовые, корили Ивана Афанасьевича, подставив эмалированный таз, кровь кухонным ножом пустили несчастному Георгию Николаевичу, волосы прижигали ему на затылке каленым железом, уши ему продували дымом. И привели страдальца в чувство. Георгий Николаевич поднял пудовые веки и тут же стал отчаянно ругаться по-матерному. Потом он вспомнил и все резкие татарские слова, какие знал от дворников. Ему стало легче, и тогда он написал проклятие Ивану Афанасьевичу и заявление в товарищеский суд.

Разбитый и печальный лежал Иван Афанасьевич в кольцах под лифтом. «Ах, зачем, зачем затеял я этот разговор, – думал он. – Любил бы ее тихо, и все тут... А теперь как бы и Екатерине Ивановне худо не было. Вдруг и впрямь станет у нее пропадать постельное белье... Нет-нет, он на это не пойдет, не посмеет...» При этом Иван Афанасьевич жалел сейчас Георгия Николаевича. А сам себе был неприятен. Мерзок даже был. Он вспоминал свои коридорные слова, и все они казались ему дурными и недостойными. А уж то, что высмеивал Грету, было и вовсе постыдно – отчего же отказывать Георгию Николаевичу в сильном чувстве? К утру он все же заснул. И сразу же ему приснился ранимый Велизарий Аркадьевич из особняка в стиле «модерн». Был он гипсовый и голый и походил на Грету. Велизарий Аркадьевич упал на колени перед Иваном Афанасьевичем, обхватил голову руками и сказал кротко: «Ах, не бейте меня, Иван Афанасьевич, тяжелым табуретом. Потому что все во мне целиком от высокой духовности». – «Ну что вы, что вы, зачем мне, – растерялся Иван Афанасьевич, – разве я злодей какой?» И тут он проснулся в холодном поту.

Он сразу же выбежал во двор. Люди расходились на службы, и Екатерина Ивановна полосатым ангелом уплывала к своим колбочкам и пробиркам. Иван Афанасьевич чуть ли не плакал – кто знает, может, он видел ее в последний раз. Екатерина Ивановна шла, шла и обернулась.

6

Вечером был товарищеский суд. С заседателями. С графином на бильярдном сукне. Все как у людей. И суд-то был распущен до сентября на летние каникулы, однако собрался. Заседателями уселись – древний и жизнерадостный нахал Василий Михайлович и застенчивый Велизарий Аркадьевич, который отчего-то пришел босым и в тунике от Айседоры Дункан. Председателем же по справедливости стал геройский Артем Лукич. Иван Афанасьевич всем им сочувствовал, он сам, случалось, попадал и в присяжные, и в заседатели, и сам тосковал на казенном кресле с высокой спинкой. Он и всем собравшимся сочувствовал, все они были домовые неплохие, либеральные и отчасти прогрессивные, однако стоило им начать вместе обсуждать кого-то или судить, так сразу же черт знает что с ними происходило. И потом, остыв, все они, да и сам Иван Афанасьевич, вспоминая свои слова, каялись и страдали. И давали обещания: в последний раз! Да что было толку!

Иван Афанасьевич терпел и речи и показания свидетелей. Все ему удивлялись, разводили руками: «Ну, знаете ли, Иван Афанасьевич!» Из-за его страсти все глядели на него так, будто он, не подумав, принял мусульманскую веру. Даже шалопаи, уж на что были легки и свободны в мыслях, а и те говорили о нем с укоризной. Понять они его не могли, женщин презирали, а увлекались исключительно испанским певцом Рафаэлем. Словом, вышел

Ивану Афанасьевичу полный конфуз. «Только про нее не говорите, только про нее не надо, – молил Иван Афанасьевич, – имя ее не марайте...» Облегчение он получил, когда Василий Михайлович, забыв о Екатерине Ивановне, обрушился на него за использование табурета.

– Экий вы сорванец! – сказал Василий Михайлович. – Размахались... И не жалко?.. Ведь сколько в этом табурете добра!.. Ежели перегнуть да очистить...

Держа в руке приговор, Артем Лукич принялся сокрушаться как ласковый, но строгий отец:

– Что же вы, Иван Афанасьевич, разве на нашей кухне-коммуне кто-нибудь мог вот эдак?.. Ай-яй-яй...

В приговоре вместе с безобразиями Ивана Афанасьевича перечислялись и его заслуги. За драку в общественном месте ему было наказано три лунных месяца на собрание домашних приходиться непременно двадцать вторым. Но драка была сочтена мелочью, а вот женщина всех расстроила. В связи с нарушением лешачьих заповедей Ивану Афанасьевичу было запрещено смотреть на смутившую его женщину, тем более что она была из чужого строения. В случае нового нарушения запрета Ивану Афанасьевичу грозило переселение с позором в деревянный одноэтажный дом у платформы Северянин, не подлежащий сносу.

– Подлежащий сносу, – предложил Федот Сергеевич.

Артем Лукич остановился и, как показалось Ивану Афанасьевичу, взглянул на Константина Игнатьевича с Таганки. Тот сидел, как всегда, тихо, права голоса не имел и никакого движения не сделал. Артем Лукич подумал и сказал:

– Правильно. Подлежащий сносу. Чтоб мог вернуться в большую жизнь. Но без телевизора.

Все сразу зашумели. Представили: взглянет Иван Афанасьевич раз на женщину и – на тебе! – не увидит первенства мира по хоккею и не услышит вдохновений Г. Саркисянца – разве это не жестоко?

– Ладно, ладно, – поднял руки Артем Лукич.

Так и записали: «...дом, подлежащий сносу, с телевизором...»

В коридоре к Ивану Афанасьевичу подошел Федот Сергеевич, сказал взволнованно:

– Иван Афанасьевич, любезный, вы хоть понимаете, что отделались легко? Я вас люблю и боюсь за вас. Вы не старый, но и не юнец. Я вас понимаю и прошу: образумьтесь! Выкиньте из головы Екатерину Ивановну. Что поделаешь? Она не для нас с вами. Нынешний суд – ведь это все шутки... Вас же не то что переселить могут... Сделаете еще один шаг, переступите лешачий закон, вас же и по ветру развеют...

Похолодел Иван Афанасьевич. И было от чего. Ведь правду сказал старик. Правду!

«Ладно, – говорил себе Иван Афанасьевич, сидя в своих стальных кольцах, – все. Нельзя, значит, нельзя. Есть у меня в конце концов сила воли или нет? Ведь семь раз она у меня была, отчего же и в восьмой раз ей не объявиться?» Тут он стал вспоминать, где у него прежде была сила воли – в голове ли, в душе или в сердце? Вспомнилось, что была и там, и там, во всем теле. Мысль об этом успокоила Ивана Афанасьевича. Однако минут через пять опять он стал сетовать на судьбу, поселившую его с Екатериной в разных домах. Ведь, будь он на должности Георгия Николаевича, мог бы глядеть на Екатерину Ивановну по службе в любое мгновение, не боясь товарищеского суда, ни суда более строгого. Да что это! А какое счастье было бы, если бы он родился соседом-пенсионером, над которым Екатерина Ивановна танцует в тяжелых туфлях после одиннадцати часов.

Выбора у него не было. То есть был. Но какой!..

7

Серая жизнь началась у Ивана Афанасьевича. Чувствовал он себя жалким и никому не нужным, да и ему самому ничего в жизни, казалось, было не надобно. В обязательный час он надевал клубный кафтан с перламутровым значком и шел двадцать вторым в собрание на Аргуновскую. А двери перед ним запирались. Привыкнуть бы ему к унижению, а вот не мог. И запить не мог. Хотел, а не мог. Выпьет «Кубанской», купленной ящиком по знакомству, и тут же возникает в мысленном взоре его Екатерина Ивановна, засмеется, заблестит, запереливается всеми цветами радуги. Все он в ней опять видел, и даже шрам от укуса на белой ноге. Знать бы ему четверть века назад про ту злодейскую собаку, она бы и на хозяйственное мыло не пригодилась! Но видеть Екатерину Ивановну даже и мысленным взором он не имел права. Вот и приходил Иван Афанасьевич в свой дом с прогулки скучный и трезвый, снимал клубный кафтан и вздыхал. А потом в пустой квартире Сушковых с влажными глазами сидел у телевизора и вязал спортивную фуфайку для племянника из Тамбова.

По городу он бродил бесцельно, в сумеречном состоянии души забирался на Останкинскую башню и глядел на Москву печально, будто прощался с ней. А отчего так – и сам не знал. Однажды он спустился с башни и пошел в Останкинский парк. Его и раньше тянуло туда, однако он себя не пускал. Теперь он дошел до пруда в детском городке и понял, что его тянуло. Возле самого берега над водяной каруселью он увидел Грету. Вокруг стояло много гипсовых скульптур, но то, что это Грета, Иван Афанасьевич понял из-за леща. Лещ, гипсовый же, нервно высывался из-под мышки Греты и успокаивался на ее груди. Снизу для верности за жабры его держала крупная рука Греты. А на пьедестале у соблазнительных Гретиных ног стояли три глиняных горшка с геранью. «Георгий Николаевич принес!» – растроганно подумал Иван Афанасьевич. Герань никто не трогал, полагая, что место ей тут определено администрацией.

Мелкая птичка с розовым зобом вилась вокруг Ивана Афанасьевича, кричала воинственно, волновалась, словно Иван Афанасьевич сейчас же мог наступить на ее птенчиков. Однако иметь птенчиков ей было не по сезону. Да ведь это же сам Георгий Николаевич и есть, догадался Иван Афанасьевич. Сердечко-то у него так и бьется, беспокоится за Грету и герань. «Да полноте, перестаньте тревожиться, – хотел было сказать ему Иван Афанасьевич, – я их не трону». Однако посчитал, что это будет не деликатно. И он пошел по берегу, в направлении шашлычной.

У шашлычной он остановился и опять взглянул на Грету. Видно, в девушке этой было что-то, раз Георгий Николаевич так вокруг нее хлопотал. Иван Афанасьевич даже позавидовал счастью Георгия Николаевича. Значит, возможно, счастье-то – это?

«Неужели я хуже Георгия Николаевича?» – думал Иван Афанасьевич, выстаивая шашлык. И тут он решил, что непременно еще один раз увидит Екатерину Ивановну, еще раз насладится ею. Хоть одним глазком. А потом будь что будет! «Гражданин, шашлык кончился, – ворвалась в его мечтания продавальщица, – капусту возьмете?» Он взял, что уж теперь.

Все переменялось в его жизни. Он и бриться начал, и зарядку делал, и трусцой в олимпийском костюме натошак обегал по утрам Звездный бульвар. И все думал о том, как он увидит Екатерину Ивановну и как замрет в нем душа. «Не посмеют они меня выселить в район Северянина, – храбрился при этом Иван Афанасьевич. – Руки короткие. И уж в дом, не подлежащий сносу, и вовсе не посмеют». Все же он однажды засомневался – не оказаться ли ему возле милой Катеньки на манер Георгия Николаевича в виде мелкой птички или какого насекомого? Но нет, сейчас же Иван Афанасьевич отверг эту ползучую мысль. Никогда.

Он понимал, что Екатерину Ивановну ему нельзя увидеть ни в ее доме, ни в ее дворе – уж совсем бы тогда против нее обозлился Георгий Николаевич. И тут Иван Афанасьевич узнал от знакомых, каких следует, что в субботу Екатерина Ивановна пойдет в кинотеатр «Космос», а билет купит на шестнадцатое место в четырнадцатом ряду.

8

В субботу Иван Афанасьевич с утра был при параде, выстиранный и выглаженный. Все в нем так и пело. Время встречи с Екатериной Ивановной он рассчитал до минуты. Он знал, в какое мгновение ему следует появиться возле кинотеатра, чтобы купить с рук билет на восемнадцатое место в пятнадцатом ряду. Тогда в течение двух часов он мог бы наблюдать милый профиль Екатерины Ивановны и трепетную ее шею, а Катенька его бы и не заметила. Муж ее, как известно, был в отъезде... А прежде Иван Афанасьевич собирался купить цветы, с тем, чтобы как-нибудь незаметно до начала сеанса положить их на кресло Екатерины Ивановны.

И вот он купил цветы возле метро «ВДНХ» у южных людей. Не какую-нибудь герань, а алые и желтые розы! И решительно направился к кинотеатру «Космос». Однако вдруг ему стало трудно идти. Будто палки какие невидимые кто подставлял на его пути на высоте сорок — пятьдесят сантиметров над уровнем тротуара. Спотыкался Иван Афанасьевич, даже правую ногу у колена ушиб о воздух, еле дошагал до перехода, поглядел на часы и ужаснулся: «Батюшки-светы!» Сейчас же его билет продавать будут с рук!

Он бросился через проезжую часть наперерез машинам и троллейбусам, летел мимо них, как шайба на клюшке у Фирсова, и вдруг у самого тротуара за руку его схватил неизвестно откуда возникший милиционер. Как он был неуместен, этот сержант, и как медлителен. «А ведь и палки эти и милиционер – это все Георгий Николаевич мудрит, – подумал Иван Афанасьевич с горечью. – Неужели он так мелочен?»

– На первый раз, – сказал милиционер, – вместо штрафа получите памятку пешехода. Прочтите сейчас же при мне и вслух с первого пункта по восемнадцатый.

– Я потом, – взмолился Иван Афанасьевич. – Я после кино.

– Четвертый пункт повторите дважды... «Продали билет! Продали!» Все стонало в душе Ивана Афанасьевича. Ничего плохого не имел против старательного сержанта, даже уважал его, но стоять больше не мог.

– Теперь, когда мы наладили выпуск «Жигулей»... – начал сержант.

Сразу же мимо него пронеслась поливальная машина и окатила сержанта с головы до ног, сбив крепкой струей фуражку. И фуражку сержант изловил на лету, а руку Ивана Афанасьевича из своей так и не выпустил. «Ах, Георгий Николаевич, Георгий Николаевич, – вздохнул Иван Афанасьевич, – крепко же вы меня прихватили». И сразу же все пуговицы, какие на сержанте были, опали и покатались по мокрому асфальту. Сержант растерянно смотрел на них, однако руку Ивана Афанасьевича все еще не выпускал. Иван Афанасьевич не выдержал, выдернул руку, поклонился милиционеру: «Извините... Я не хотел... но вы сами...» – и побежал к кинотеатру. Сержант ему вдогонку дунул в свисток, но шарик тут же выскочил из свистка, а сам свисток превратился в гороховый стручок, будто только что созрел в тепле сержантова рта.

Огорченный, бежал Иван Афанасьевич лестницей в «Космос» и вдруг в толпе заметил Федота Сергеевича из разрушенных палат семнадцатого века. Он так и встал на месте словно столбом ледяным. «Значит, это не Георгий Николаевич меня задерживал, – дошло до Ивана Афанасьевича. – А Федот Сергеевич... Старик не хочет, чтобы я видел Екатерину Ивановну. Добрейшая душа! Боится, как бы я не сделал чего и поопрометчивей...»

Тут Иван Афанасьевич вспомнил о разговоре с Федотом Сергеевичем, и ему стало страшно.

Однако сегодня он был мятежен духом и, постояв мгновение, понесся по лестнице вверх.

Удачи не было ему. Он потолкался среди ищущих лишнего билетика, ушами от волнения начал прясть и узнал, что из билетов на ближние от кресла Екатерины Ивановны места не оборван на контроле пока один. И тот был на двадцатый ряд! С билетом этим наконец явилась тоненькая девица, по виду – не прошедшая по конкурсу. Как только она стала проплывать в своем макси мимо Ивана Афанасьевича, так сразу же билет ее упал на пол, и Иван Афанасьевич незаметно его поднял. Обнаружив пропажу, девица расплакалась так искренне и так нежно, что Иван Афанасьевич весь расстроился, будто обидел сироту.

– Вот тут голубенькая бумажка, – сказал он смущенно, – не ваша случайно? А то я гляжу – валяется...

Девица обняла его от радости, схватила билет и унеслась в пределы видимости Екатерины Ивановны.

А Иван Афанасьевич стоял печальный. Как лес опустевший. И только когда фильм начался, в темноте он проник в зал. Ну проник, и что? Засел под чьим-то креслом, так и сидел, боясь и после сеанса упустить Екатерину Ивановну. Что за фильм, из-за чего смех, он не знал. Да и зачем ему был фильм! Мог он увидеть сейчас Екатерину Ивановну в инфракрасных лучах, мог, но посчитал, что это будет непорядочно.

Но вот вспыхнул свет, потянулся зритель к выходу, побрел со всеми и Иван Афанасьевич с букетом в руках.

9

Небо было темно-синим, густым, фонари на Звездном бульваре горели через один, но чуткий глаз Ивана Афанасьевича все же выделил из толпы метрах в пятидесяти перед собой Екатерину Ивановну. Иван Афанасьевич обеспокоился. Екатерине Ивановне словно было не по себе. То ли после сидения в духоте она замерзла сейчас, то ли была чем-то опечалена или кого-то искала – все оборачивалась. Иван Афанасьевич хотел было прибавить шагу, но тут же мимо него пронеслись зловещие слова, будто их кто-то произнес на бреющем полете: «Увидел ее все-таки... Нарушил... Выселим, выселим... И дом подыщем с крысами!...»

Теперь-то это был точно Георгий Николаевич. Укараулил.

– Как вам не стыдно! Георгий Николаевич! – гордо сказал Иван Афанасьевич. – Как мерзко! В наше время за это полагалась темная...

Никто ему не ответил.

Однако дух Ивана Афанасьевича был отчасти сломлен. Сразу же вспомнилось ему, какая он, в сущности, мелкая личность. И что он может? Выселят, непременно выселят... Плакать Ивану Афанасьевичу хотелось...

Толпа впереди рассеялась, Екатерина Ивановна шла теперь одна, а приблизиться к ней Иван Афанасьевич не решался. Куда уж ему было усугублять вину. Даже если бы какие хулиганы сейчас пристали к Екатерине Ивановне, ему и их не следовало бы замечать. Но хулиганов, слава богу, не было, а Иван Афанасьевич все брел за Екатериной Ивановной, наслаждался в последний раз дальним ее обликом.

И тут на мостовую, по которой шла Екатерина Ивановна, на губительной скорости вылетел «Москвич» линейной службы. Здесь был тупик, и Иван Афанасьевич понял сразу же, что это диверсия Георгия Николаевича с использованием левой машины и нетрезвого водителя. «Москвич» несясь будто под гору, без тормозов, а Екатерина Ивановна его не чувствовала. И тогда Иван Афанасьевич сделал то, чего никак не мог делать. Он прыгнул, пролетел метров

семьдесят и легонько оттолкнул Екатерину Ивановну вправо. «Москвич» проехал по ноге Ивана Афанасьевича, отчего шина «Москвича» тут же лопнула, крыша оторвалась, а в просветлевшей голове водителя прозвучало: «А ну дыхни!» Возле машины сразу же образовалась толпа, и в толпе этой Иван Афанасьевич разглядел Константина Игнатьевича с Таганки. Но какое ему было дело сейчас до Константина Игнатьевича! Ведь он стоял рядом с Екатериной Ивановной!

– Что это вы? – Екатерина Ивановна смотрела на него удивленно и вместе с тем в каком-то смущении. – Зачем вы?

– Вы шли... – пробормотал Иван Афанасьевич. – А на вас машина чуть не наехала сзади... Вот я и...

– Нет, правда? – еще больше удивилась Екатерина Ивановна. – Вы меня разыгрываете!

– Мне так показалось... Но у нее отчего-то лопнула шина... А вы, видно, задумались...

Вы простите, что я...

– Ах, что вы! Что вы! – сказала Екатерина Ивановна. И добавила вдруг: – Я ведь о вас и думала...

– Обо мне?

– Да, – улыбнулась Екатерина Ивановна. – Вы ведь в соседнем доме живете?

– Не совсем, – замялся Иван Афанасьевич. – Но недалеко.

– У меня примета была, – Екатерина Ивановна даже за руку взяла Ивана Афанасьевича, – как я утром вас увижу, так у меня день хороший. А вы и не знали... И вот я вас давно не вижу, и у меня все невезения... Вы не болели?

– Нет, – сказал Иван Афанасьевич. – Я в отъезде был...

– Я почему-то думала, что встречу вас сегодня в кино... И после я вас искала в толпе...

– И мне казалось, что я вас сегодня увижу, – дрожа от немыслимого счастья, произнес Иван Афанасьевич. – Сделайте милость, примите от меня эти цветы.

– Ах какие розы! – обрадовалась Екатерина Ивановна. – Это вы мне? Ах, спасибо... Как пахнут... А я вас сейчас мандарином угошу... Подруга привезла из Батуми... Кожица у них зеленая, они кислы, но первые ведь!..

Иван Афанасьевич взял мандарин, плод золотой, изумрудный сверху. Все он мог сейчас вытерпеть за Екатерину Ивановну, пытки любые и любые слова. Мандарин он есть не стал, а попытался незаметно упрятать его в карман. Однако Екатерина Ивановна поняла его движение и расстроилась, голову наклонила печально.

– Вы их не любите?

– Нет, я потом... В горле сейчас что-то стоит... Я вам очень благодарен...

Он ей и судьбе был благодарен за их невозможный дар. Но стыдно ему было перед Екатериной Ивановной, она могла подумать, что ранний мандарин, сэкономив его и припрятав, он хотел отнести еще кому-то, скажем, своему больному ребенку...

Тихо подошли они к двадцать пятому дому.

– Ну вот, – сказала Екатерина Ивановна. – У меня отчего-то настроение лучше стало... Спасибо, что проводили. Теперь-то утром вы станете появляться во дворе?

– Должен буду...

– Ну, до свидания...

Она протянула ему руку, и он замер в нерешительности, ему хотелось поцеловать ее прекрасную руку, но на вид Екатерина Ивановна была спортсменка и общественница, он не знал, что она считает дурным тоном и что нет, и он робко пожал ей руку.

И закрылась за Екатериной Ивановной дверь, крашенная в кофейный цвет, вся во вмятинах и пятнах – по недосмотру Георгия Николаевича.

Ощущая ладонью своей гладкую и ласковую кожу плода, Иван Афанасьевич побрел домой. И тут мимо него Георгий Николаевич в банном халате проехал на велосипеде с моторчиком:

– Переступил!.. Сам себе приговор составил!.. И Константин Игнатьевич все видел... Теперь уж не выселят! Теперь по ветру развеют!..

– Ах, Георгий Николаевич, – отмахнулся от соседа Иван Афанасьевич. – Жалко мне вас... Ничего вы не понимаете... Вы хоть бы двери, что ли, отмыли!..

Потом он долго бродил по своему двору в темноте и думал о том, что его и на самом деле завтра развеют. Но как-то холодно думал. Будто и не про себя. Про себя – ему было теперь все равно. Отчего так суетился нынче Георгий Николаевич – понять не мог. Зависть, что ли, его бесит, старая ли какая обида, или простить он не может ему, Ивану Афанасьевичу, что сам спьяну рассказал о гипсовой Грете? И теперь желает убрать свидетеля тайной своей любви? Или еще что? Кто его знает! Недобрый он и подлый... Скотина, в общем-то!.. «А-а», – вздохнул Иван Афанасьевич, отпустил мысли о Георгии Николаевиче, и они тотчас отлетели.

10

В кольцах под лифтом он опять вдруг стал мятежен. «Да какое они имеют право судить меня!» – подумал он так, словно и не подумал, а кулаком по столу ударил. Однако тут же вспомнил, какое имеют право. Тогда он стал склонять себя к тому, что там не все звери, а есть и такие, какие поймут его и заменят крутую меру вечной высылкой в гиблое место – скажем, на поруки к племяннику в Тамбов. Он понимал, что это маловероятно, однако и этим маловероятием утешал себя. Тем более что решение по его делу могло состояться и ранее, чем завтра. А у него оставалась ночь и волшебный плод из рук Екатерины Ивановны.

Он достал мандарин и укрепил его в воздухе прямо перед собой. Уж как он им любовался! И запах вдыхал в блаженстве. И находясь в полуметре от мандарина и совсем близко – кожей своей касаясь его зеленой кожи. Неведомый Ивану Афанасьевичу юг представлялся ему при этом, но запах юга Иван Афанасьевич сразу же отделил от запахов Екатерины Ивановны, те были сладостней. И опять словно бы он рядом стоял с Екатериной Ивановной, и она говорила ему: «Как я вас утром увижу, так у меня день хороший...» Слова эти звучали в его ушах в третий и в сотый раз. И сердце его замирало, а душа наполнялась чем-то прозрачным. Он знал, чем это может кончиться. Он знал, что ему следует немедленно оставить мандарин и перестать думать о Екатерине Ивановне. Всего в его жизни семь раз у него всерьез замирало сердце. И прежде женщины были хороши: одна спасла больную собачку, другая замечательно пекла расстегаи с севрюжьим хрящом, третья вся ходила в кружевах, и об четырех остальных он не мог сказать ничего дурного, однако Екатерина Ивановна их всех пересилила. Прежде он мог сдерживать себя. А теперь не мог.

От неизвестной ему прежде радости нечто прозрачное все больше и больше наполняло ему душу. Как августовский сок наливное яблочко. И вот уж Иван Афанасьевич весь стал прозрачный и звенел при движениях гусевским хрусталем. А когда прозрачное перешло в зеленое, легкая сила подняла Ивана Афанасьевича из стальных колец и повлекла вверх. Еле-еле успел он подхватить драгоценный батумский мандарин. А его уже протащило сквозь весь дом первой категории с нижнего этажа по девятый, сквозь стены и потолочные перекрытия и с громким звоном хрустального колокола в триста пудов вынесло в синее московское небо.

– Что-то зазвенело, – сказал я, поднося консервный ключ к запертой бутылке пива «Букурешти».

– Да, зазвенело, – согласился мой приятель.

– И сейчас звенит, – сказал я, и рука моя отчего-то соскользнула с горлышка бутылки.

И тут я почувствовал, что во всем доме стало печально. Будто кто-то умер.

А звенящее и зеленое, взблескивающее иногда голубым и желтым, летело над Останкином.

Сын задремавшей было Екатерины Ивановны, девятилетний Саша, имевший в английской школе тройку за поведение, бродил без сна по квартире, попал на балкон и закричал:

– Мама, мама, зеленое и звенит!

Екатерина Ивановна, расклеивая веки, в воспитательных целях поднялась и вышла к Саше:

– Где? Что? Почему ты бродишь так поздно?

– Вон! Вон!

Екатерина Ивановна взглянула.

– Наверное, что-нибудь испытывают... – сказала она.

А зеленое с голубым и желтым звенело и уплывало все дальше и дальше к востоку, к бывшему селу Алексеевскому, к платформе Маленковской, а потом и к Сокольникам. Многие в ту ночь в двенадцатом часу наблюдали в районе Останкина странное явление. Остановились и задрали головы прохожие в аллее Космонавтов. Романтические пары на Звездном бульваре посчитали звон добрым знаком. Трое мужиков из мебельного магазина, распивавших водку с «Солнцедаром» в сквере возле метро «ВДНХ», от удивления не смогли закусить. Сержант, дежуривший у кинотеатра «Космос», весь уже в пуговицах, решительно засвистел, пытаясь прекратить движение зеленого предмета. Свисток у него был хороший, только что полученный со склада, однако звенеть в небе перестало не сразу.

Иван Афанасьевич об этом уже ничего не знал.

1971

Трусаки

Долго меня стыдили. Все уже бегали – и Евсеев, и Короленков, и Москалев с Долотовым, и Ося, а я нет. Сначала меня уговаривали, предъявляли мне свои животы, сопоставляли их с моим, и выходило, что их животы в чем-то стали меньше. Я им завидовал. Милые мои трусаки начали даже приобретать подтяжки, выстаивая очереди в Столешниковом переулке. А я все не бегал. «Эдак ты докатишься, – говорила мне жена. – Посмотри, на кого стал похож». Я смотрел. Какой был, такой я и остался, остановился в развитии. Но уж одно это было плохо.

И я решил бежать. Хотя к тому времени бег трусцой и стал выходить из моды. Некоторые из моих знакомых, отбегав, отпускали уж усы. Кто под Бальзака. Кто под запорожского лихого сечевика. Иные, волевые, совмещали усы с бегом. Иные все еще бегали натошак, просто так. Вот и меня умными словами жена убедила присоединиться к ним. На усы, в особенности запорожского романтического покроя, она не надеялась.

Но я человек застенчивый и ранимый. Представлю себе, как я в бежевом пыльном костюме и в дурацкой вязаной шапочке с заячьим хвостом-помпоном – по совету женского календаря – побегу по останкинским асфальтам и грязям, так мне дурно становилось. Виделись сразу прохожие. Один с деловым чемоданом, какой-нибудь хлыщ, физик или биолог, которому и по ночам снятся дрозодилы, останавливался, глядел на меня и смеялся: «Ну и экземпляр!» – при этом он наверняка думал, что и днем, вспоминая обо мне, будет смеяться. Мальчишка с портфелем тыкал в мою сторону пальцем и орал приятелям: «Смотрите – останкинский Борзов!.. Марк Спитц!.. Брат Знаменский!» Служащая барышня фыркала, не стесняясь, в лохматый краешек пончо. Бабка, спешившая на рынок за картошкой, шараялась от меня и крестилась, как сорок лет назад, когда в своей мелекесской деревне увидела аэроплан. А я готов был ей ответить на ходу: «Сама не лучше выглядишь, старая дура...» Вот такие видения возникали в моей голове при мыслях о первом забеге.

Я все оттягивал его. А для того чтобы вконец не отказаться от благородной и выстраданной идеи, бегал по утрам по квартире. Задевал хрупкую зеркальную вешалку, сбивал парфюмерию. Жена не выдержала и сказала:

– Я понимаю, ты стесняешься бегать один. Но, может быть, ты с кем-нибудь объединишься? Может, в компании тебе будет легче начать?

– С кем же это?

– Ну с кем... Вон ведь в нашем дворе сколько бегают... И Евсеев, и Короленков, и Москалев с Долотовым, и Ося, наконец...

– Ну ладно, – вздохнул я. – Действительно, может, попробовать с Евсеевым?..

Я пошел к Евсееву. Благо тот жил этажом ниже.

– Ну что ж, давай, давай, – сказал Евсеев. Тут же он рассмеялся и подмигнул мне, как члену одной с ним масонской ложы. – Ты тоже, значит, любишь с утра?

– С утра... – неуверенно сказал я. – Если выдержи, то и перед сном можно будет... Специалисты так и советуют...

– Кто любит с утра, – захохотал Евсеев и опять подмигнул мне, – тот уж и вечером непременно!..

Назавтра утром, в восемь, сделав для храбрости под музыку репродуктора неуверенные движения руками, шеей и туловищем, я пришел к Евсееву. Был я в спортивном виде, в кедах на шерстяной носок. Жена, как боевая подруга, выйдя на лестничную клетку, провожала меня на подвиг. И я волновался. Евсеев уже ждал. В нашем доме он выделялся цветущим видом вечного везуна, громким голосом на собраниях жильцов, а зимой еще и пыжиковой шапкой. Да еще он любил петь в подъезде. Слов он не знал, но пел от души. Как выносит

мусор или пищевые отходы, так и поет: «Блоха! Ха-ха-ха-ха!» И стекла звенят. А как спустит мусор в трубу, так обязательно добавит: «А мы их, брат, дав-и-и-ить!» Все у него ладилось, и ладони от жизненных удовольствий он часто потирал с такой оптимистической энергией, что вот-вот, казалось, мог оделить всех огнем. Этаким Прометей. Заведовал он прудами в пригороде, ездил туда на машине и иногда говорил с нескрываемой радостью: «Утка – не птица, рыба – не кашалот!» Наверное, так оно и было.

– Вот... Я готов... – робко сказал я.

Евсеев оглядел меня с кед до заячьего хвоста и счастливо засмеялся:

– Давно бы пора включиться!

Жена Евсеева, Верочка, высунувшись из открытой двери, улыбнулась мне:

– Вы уж со Славы берите пример. Он два года бегает, и всегда бодр, и хороший семьянин.

– Ну пошли, пошли! – подтолкнул меня Евсеев, ноги его ходили ходуном, видно было, что ему уже невтерпех.

– На лифте поедem? – спросил я.

– На каком лифте! Бегом по лестнице! Мы и так уже выбились из графика!

И он полетел впереди меня, не оглядываясь. Звук его шагов был громким и мощным, весь дом слышал, что бежит именно Евсеев.

Двор наш большой, весь в зелени, под тополями и каштанами, мятыми северным ветром, уложена бетонная тропинка. Вот по этой тропинке и пустились мы в радующий душу и мускулы первый мой забег. «Колени, колени выше! Ступай на носок! И толкайся, толкайся сильнее!» – кричал мне Евсеев на ходу и, оглядываясь, улыбался, словно был счастлив оттого, что я наконец приобщился к славному делу. Ах, как он красиво бежал! Шаг его был упруг и высок, сильное, здоровое тело чувствовалось под синим шерстяным олимпийским костюмом с белыми полосками на воротнике, дыхание было ровным и легким. И мне было хорошо. «Как здорово, что я начал!» – думал я и был готов бежать сейчас от Останкина до Мытищ, ничего бы, наверное, кроме удовольствия от бега, не испытывая.

– Стой! Куда ты так несешься! – услышал вдруг я. – Мы ведь уже за угол забежали...

Действительно, мы были уже за углом белой соседней башни. Евсеев бежал сзади, и не бежал вовсе, а так, семенил.

– Да не спеши ты! Какой удалец! Смени темп. Нам еще надо сберечь силы на обратную дорогу. Они нас теперь не видят... Впрочем, твоя жена и вообще тебя не видела... Ваши окна на южную сторону...

Я тут же остыл, семенящим шагом потащился за Евсеевым и почувствовал, что ноги у меня – бетонные, сердце – колотится, а дышать нечем. И не тридцать мне лет, а все семьдесят.

– Ничего, ничего, – подбодрил меня Евсеев, – сейчас добежим... Это с непривычки дорога длинная...

Внутриквартальными проездами мы одолели еще полверсты, и Евсеев как бежал, так и забежал в подъезд незнакомого мне дома. И меня рукой поманил.

– Теперь на пятый этаж, – сказал он и, заметив мой испуг, добавил: – На лифте... На лифте...

Я и в лифте по наивности хотел было бежать на месте, но Евсеев, покачив головой, наступил мне на ногу: «Хватит. Экий неугомонный!» На пятом этаже он нажал кнопку звонка. Толстый, одетый уже на службу человек открыл нам дверь.

– Что-то ты долго, – сказал он Евсееву.

– А вот, – засмеялся Евсеев и показал на меня. – Нашего полку прибыло! Спаринг-партнер!.. Проходи, проходи, ноги вытирай и прямо на кухню! Знакомься...

И он затолкал меня в квартиру к приятелю. На кухне у того на столе стояла бутылка «Старки», граненые стаканы, только что мытые, с капельками воды на донышках, а рядом

лежали соленые огурцы, ломти орловского хлеба и серебряная кожа вяленого леща, для запаха.

– Разливай, – сказал Евсеев. – Ба! Да у нас «Старка» сегодня! Одну купил?

– Одну! Как же! Очередь выстоял, – сказал приятель. – Сколько в портфель вошло. На девять забегов хватит.

– Ну давай, давай, лей. А то нам еще бежать. Не то что тебе, лодырю!

Приятель, готовый на службу, разлил водку забытого цвета в стаканы, и один из стаканов Евсеев протянул мне. Стакан я невольно взял, но тут же спросил:

– А мне-то зачем?

– То есть как? Ты не пьешь, что ли?

– Пью... – смутился я. – Но ведь не с утра...

– А зачем же ты тогда бежал? – спросил Евсеев.

Он расстроился и смотрел на меня укоризненно, даже сурово, как бог знает на кого – как на провокатора или на лазутчика. Или хуже того. Как на человека, который только прикидывается пьющим.

– Я для здоровья бежал, – сказал я неуверенно. – Я за тем бежал, за чем ты бегаешь два года...

– Ну! – загремел Евсеев. – Стал бы я бегать, если бы жена разрешала мне пить дома! А приятель мой – холостяк... Стал бы я бегать! К лешему мне этот твой бег! И на костюм вот пришлось тратиться... Семьдесят рублей... Бегать! Фу ты, дрянь какая! Главное, для здоровья! Вот что для здоровья! И для бодрости! Пей. И не ломайся. Мужик ты или не мужик? Или ты не мужик?

– Мужик... – вздохнул я.

Выпили. Закусили. Серебряную шкурку леща понюхали по очереди.

– Утка – не птица, рыба – не кашалот! – торжественно и смачно провозгласил Евсеев и с упоением потер руки. Удивительно, отчего из его ладоней не вырвалось пламя. Этаким здоровяком, подумал я, он и на руках сможет теперь домой дойти! – Ну вот, а ты ломался, – сказал мне Евсеев с явным одобрением. – Я уж было расстроился... А то, понимаешь, доза для нас двоих была чрезмерная... Мы ведь не для куражу, а для бодрости. Третий нам кстати... Спарринг-партнер... Или ты недоволен?

– Да как-то непривычно...

– Совесть тебя, что ли, мучает, что с утра? Это, брат, предрассудки... Я тебе скажу: с утра – самое полезное... Не мы одни, а и государственные люди тоже... Вот Петр Первый, он, говорят, если с утра стакан не брал, то и Россию не мог на ноги ставить...

– А окно-то к ним он подавно не мог рубить, – вставил приятель.

– Ну, насчет окна – это вообще! – подтвердил Евсеев. – Или вот полководцы. Один маршал или генерал, не помню какой...

Тут он рассказал случай про этого маршала или генерала, неизвестно какой страны, то ли нашей, то ли ихней. В общем, про Ворошилова. Однажды он собрал поутру перед сражением весь свой офицерский состав, они стали «смирно», а он грозно их спросил: «А ну, кто пьет с утра, признавайтесь, шаг вперед...» Один только офицерик и шагнул вперед. Тогда этот маршал или генерал, этот Ворошилов, приказал принести два стакана водки, или шнапса, или виски – одна радость! – и с офицериком выпил. И сказал: «Вот с ним и пить и воевать можно! А вы, все остальные, трусы, кого обмануть хотите?...» И выиграл сражение.

– Сколько с меня? – спросил я.

– Когда обычная – рубль двадцать, – сказал Евсеев. – А сегодня – рубль.

– Рубль четыре, – поправил приятель.

– У меня с собой нет. У меня и карманов нет.

– Ладно. Завтра занесешь, – махнул рукой Евсеев. – Нам и бежать пора.

– Бегите, бегите, – улыбнулся приятель.

– А ты не ехидничай, лодырь! – сказал Евсеев. – Сейчас пробежаться – одно удовольствие. Вон какие у меня мускулы на ногах стали. Потрогай.

Но приятель только брезгливо махнул рукой.

Теперь уже Евсеев в лифте чуть ли не бежал на месте. Опять ему было невтерпех. Сил у меня явно прибавилось. Несомненно, подумал я, в тренировочном методе Евсеева что-то есть. В смысле использования ресурсов человеческого организма. Давно я так легко не бегал. А Евсеев опять был красив. В особенности когда мы выскочили на открытое пространство нашего двора и понеслись по бетонной тропинке под тополями и каштанами. Тут он так элегантно и мощно вскидывал ноги, так порхал, что для меня стал походить на дивного спортсмена, который несется сейчас по праздничному стадиону с олимпийским факелом в руке, чтобы на глазах у миллионов зрителей зажечь пламя в заветной чаше. Может, и Евсееву такая мысль заслонила мозги, потому что и в нашем подъезде он бросился яростно бежать по лестнице, словно лестница эта вела его именно к олимпийской чаше, а не к жене. И я бежал за ним.

Жена Евсеева вышла нас встречать.

– Ну как? – спросила она меня.

– Да вроде ничего, – сказал я, трудно дыша. – Тяжело с непривычки...

– Замечательно, а не ничего! – шумно похлопал меня по плечу Евсеев. – Бодрость-то в нас какая! Словно десять лет скинули! А привыкнешь ты быстро, я уже сейчас вижу. Скоро станешь настоящим спарринг-партнером... Точно! Сейчас вижу...

– Да, да, – улыбнулась его жена. – Слава вот быстро привык. А я ведь и не надеялась, что он станет бегать.

– Значит, завтра на том же месте в тот же час, – сказал Евсеев.

Тут он мне подмигнул и приложил палец к губам: мол, о наших с тобой легкоатлетических секретах никому ни гугу. Я кивнул в ответ: что я, идиот какой, право?..

К себе на этаж я поднимался уже как старик астматик, как каменный Командор, расстроенный Дон Жуаном, тяжеленные ноги подтягивал со ступеньки на ступеньку и думал о выражении «спарринг-партнер». Все мне теперь стало ясно. Был я однажды в Перми в командировке. Остановился у стенда «Не проходите мимо». Там висели фотографии пьяниц. И вот что меня удивило. В подписях корили не любителей выпить на троих, как было бы в нашем городе, а «любителей спариться». Вот откуда, понял я сейчас, пошло – «спарринг-партнер». Эта мысль меня взволновала и обрадовала. Не заржавели, значит, мы разумом. Не в одних иностранных словарях искать облегчение мыслям! Есть и у нас еще дотошные умы, способные раздвинуть границы языка и создать новые специфические выражения.

Однако воспоминание о рубле с четырьмя копейками меня сразу же расстроило. Это еще хорошо, что они достали «Старку». А потом-то ведь придется брать «Экстру». Или хуже того – коньяк. Эдак у меня и на пиво ничего не останется!

Э-э, нет! Пошел бы этот Евсеев к черту!

Жена меня встречала так, словно я был актер на эпизодах и вот наконец получил с ее помощью большую роль и теперь возвращался с премьеры.

– Ну? Что? Да на тебе лица нет! Что с тобой? Какой-то ты странный...

– Тяжело с непривычки, – сказал я. – У Евсеева очень интенсивные нагрузки. Пожалуй, я с ним не выдержу... Подкосит он, пожалуй, меня...

– Да, он здоровый. Прямо как Алексеев. Тебе бы начинать с кем послабее... Ты подумай с кем... Но ты не бросай, я тебя прошу... Иначе я перестану тебя уважать... – сказала жена с угрозой.

– Хорошо, не брошу... – сдался я.

Я на работе все думал, с кем мне бегать. Все прикидывал, кто из милых моих трусаков пьющий с утра, а кто нет. Ни в ком я не был теперь уверен. И тут я вспомнил о Короленкове. Этот уж точно непьющий, некурящий и даме уступит место в троллейбусе. Подозрительный в общем-то человек. И уж больно педант. Он и в жару ходит в костюме и при галстукке, а из кармана пиджака у него непременно высовывается уголок платка из галстучного же материала. Он уж точно и вилку никогда не возьмет в правую руку и даже самую мелкую кость ни при каких обстоятельствах не проглотит. Такой он весь аккуратный, что лучше бы ему лежать в палате мер и весов. А он что-то конструировал, какие-то вагонные тормоза. Но тормоз Матросова был не его. Знакомые Короленкова, и я в том числе, его не любили, считали, что он себе на уме и похож на Клима Самгина. Но теперь-то именно Короленков и был мне хорош. Недели две назад он и сам звал меня бегать с ним. Привлекало меня и то, что Короленков был совсем не атлет, а такой же, как и я, тщедушный служащий и, стало быть, вряд ли бежал быстро и далеко.

После работы я зашел к Короленкову в соседний дом. Он выслушал меня и, как мне показалось, растерялся.

– Ты же сам звал меня, – сказал я.

– Ну да, ну да, – кивнул Короленков. – Но лучше было бы, если бы ты предупредил меня заранее... Может, ничего и не выйдет... Это ведь тонкое дело...

– Тонкое, – согласился я.

– Ну ладно, – сказал Короленков. – Попробуем предпринять экстренные меры, авось что-нибудь и получится... Завтра приходи ровно в семь. Форма одежды – спортивная.

– В семь? – удивился я.

Неужели, подумал я, Короленков так подолгу бегают? Мы с Евсеевым начали сегодня в восемь, а и то многое успели. Я уж хотел было заявить, что дудки, что в семь мне ни к чему, что с семи пусть бегают мои враги, но почувствовал, что отказываться мне теперь будет неловко. Тем более что я сам вынудил Короленкова предпринимать какие-то экстренные меры. «Какие меры? Зачем? Не надо!» – хотел было я сказать Короленкову, но не сказал, побоявшись сказать глупость. Умный и серьезный вид его меня смущал.

Назавтра в семь я пришел к нему. Захватил с собой рубль с четырьмя копейками и широкий бинт на случай встречи с Евсеевым. Рубль четыре копейки понятно зачем. А бинт, чтобы срочно забинтовать что-нибудь – коленку, палец, руку, голову наконец – и тем объяснить Евсееву причину своего отсутствия. Но я не попался Евсееву на глаза.

Побежали мы с Короленковым. Тренировочный костюм был на нем хороший, эластичный, иноземной выделки. И бежал Короленков хорошо. Тихо. Молчал. Только однажды обернулся ко мне:

– У тебя тоже, что ли, с женой нелады?

– Нет, – сказал я. – Лады.

Он как будто бы мне не поверил. Спросил:

– А чего же ты тогда бежишь?

– А при чем жена?

– Хотя да, – сказал Короленков. – Жена в наше время тут действительно ни при чем...

«Неужели, – расстроился я, – и этот стал пить? Тогда рубля-то мне не хватит!» Я уже хотел было захромать, но тут мы протрусили под аркой и выскочили в сквер у трамвайной остановки.

– В седьмой садись, – бросил мне Короленков. – Только не в семнадцатый. Семнадцатый сворачивает в Медведково.

Тут бесшумно и резво подошел именно седьмой трамвай, Короленков неторопливым, но деловым шагом подбежал к задней двери и вскочил в трамвай. И я вскочил в трамвай. И

только когда мы проехали остановку и я с трудом вырвал билет из никелированной челюсти кассы, я вдруг словно очнулся. Куда я еду в этом пустом трамвае, зачем я здесь?

Я хотел было спросить об этом у Короленкова, но он был холоден и строг, меня будто и не знал, и я подумал, что вопросом своим я покажусь Короленкову смешным и инфантильным. Значит, он знает, зачем я в трамвае и зачем я еду. Он человек основательный, у него свой метод бега трусцой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.